

и что он пал, окровавленный кровью сотен людей. Остатки бастионов, лагерей и проч. еще живо напоминают обо всем и живо говорят воображению. Много сильных ощущений имел я там, в Севастополе, они не изгладятся из моей памяти, и я когда-нибудь на досуге запишу их. По возвращении из Николаева, в половине августа, я застал уже жену в Москве, возвратившуюся из Оренбурга, где пила кумыс и, благодаря Богу, оправилась. В Петербурге принят я был хорошо и представил дело в настоящем его виде. Вследствие моих донесений посылается в Николаев военно-судная комиссия, которая, конечно, оправдает многих, совершенно напрасно обвиненных. Государь опять уехал за границу и перед отъездом утвердил журнал Комитета об эмансипации³⁴, которым сильно этот вопрос двинут вперед. Теперь готовят проекты указов, которыми, с одной стороны, будут приглашены помещики вступать в обязательства со своими крестьянами, не стесняясь условиями, указанными в законах об обязанных крестьянах, а с другой — рядом ограничительных мер будут помещики к этому понуждены. Вообще это дело принимает, кажется, весьма серьезное направление. Что из этого выйдет — одному Богу известно. Мудрено предположить, чтобы все обошлось благополучно, а также нельзя думать, чтобы завязалась какая-нибудь серьезная кутерьма. Раскольнический вопрос также серьезно поднят в весьма либеральном смысле. Это также вопрос капитальный и вечевой.

Несмотря на интерес, возбуждаемый сими делами, я, прельщенный чудным климатом Крыма, решил ехать на зиму за границу с женой и старшими детьми и получил не только отпуск на шесть месяцев, но уже и паспорт у меня в кармане. Завтра еду в Москву, отсюда на несколько дней в деревню, а потом в Варшаву, откуда прямо в Париж, а на зиму, вероятно, в Ниццу. Впрочем, это еще не верно. Ежели лень меня не одолеет, то намерен продолжать дневник за границей, только в другой тетради, чтобы не таскать эту книгу с собой.

1858 год

26-го июля. Вот уже скоро год, как я ничего не писал в этой тетради. Я не брал ее за границу, а в течение этого времени совершилось так много замечательного, что пересказать, даже вкратце, все события очень трудно. Я выехал из России в начале октября прошедшего года из Варшавы, через Бреславль, Дрезден в Баден, где пробыл 2 дня для свидания с великой княгиней Еленой Павловной, а потом через Страсбург отправился в Париж и там жил 2 недели. В это время успел только поверхностно ознакомиться с городом и заняться немного судебной частью, думая на обратном пути пожить здесь подольше. Из Парижа через Марсель отправились мы в Ниццу, где думали расположиться на зимней квартире, но, пробыв 2 недели, решили отправиться зимовать в Рим. Там поселились вместе с графиней Протасовой. В конце января я нечаянно собрался в Иерусалим вместе с генералом Исаковым, старинным моим приятелем. Мы выехали с ним накануне карнавала сухим путем в Неаполь, там сели на пароход и отправились через Мессину в Мальту, в Александрию, а оттуда в Яффу и потом верхом в Иерусалим. Подробности пребывания мое-

го в Иерусалиме вкратце записаны мною в записной книжке, на досуге я их приведу в порядок. В Иерусалиме и окрестностях, т. е. на Иордане, Иерихоне, Мертвом море, Вифлееме, пробыли мы две недели. Прибыв в Иерусалим в пятницу, на первой неделе поста, мы всю вторую неделю говели. Перед нами, за неделю, приехала наша духовная миссия, епископ Кирилл, и мы все время имели служение на славянском языке. Из Иерусалима мы обратно поехали в Яффу и потом в Александрию, откуда по железной дороге в Каир, где прожили 10 дней, осмотрев все окрестности до Мемфиса. Воротясь в Александрию, сели на английский пароход и опять через Мальту и Мессину — прямо в Неаполь, а потом в среду на Страстной неделе — в Рим, где, по милости Божией, всех застал здоровыми. По полученным известиям из Петербурга, я должен был торопиться назад, в Россию, а потому отправился с женой и детьми в Ниццу, где, оставив семейство для морских купаний, сам отправился через Марсель в Париж, где застал телеграфическое приказание немедленно возвращаться, а потому намерение мое пожить в Париже и хотя мельком взглянуть на Лондон не могло исполниться.

В начале июля я прибыл в Петербург, немедленно вступил в должность, и до сих пор занятия не позволяли мне продолжать записок. В общих чертах, для связи, расскажу, что происходило здесь все это время. Я оставил Россию в то время, когда вопрос эмансипационный только что начинал принимать серьезный вид. В Секретный комитет назначен был великий князь, и по его предложению состоялся журнал, в котором весь вопрос разделен был на 3 периода: первый — подготовительный, в котором предполагалось позволять всем помещикам совершать сделки с крестьянами, не стесняясь законно существующими только двумя видами; вместе с тем предполагалось издать ряд ограничительных мер для обуздания своеволия помещиков. Во втором периоде предполагалось сделать условия крестьян с помещиками обязательными. В третьем периоде должно было последовать уже окончательное освобождение посредством выкупа обязательств, лежащих на крестьянах. Срок этим периодам не определялся. Журнал, в котором это все было постановлено, утвержден государем, и в резолюции государь пояснил, что надеется, с помощью Божией, что намерение его будет исполнено. Засим поручено было всем членам Комитета написать проекты указов. Так что, уезжая из России, я думал в скором времени узнать уже о выходе указов. Но, к величайшему моему удивлению, вышло иначе.

В ноябре месяце великая княгиня Елена Павловна, находясь также в Риме, получила первые печатные экземпляры рескрипта государя к виленскому генерал-губернатору об учреждении комитетов в Западных губерниях для составления положения об улучшении быта крепостных крестьян. Очевидно было, что подобные комитеты будут устроены и в других губерниях и что вопрос эмансипационный вышел уже из канцелярской тайны, а поставлен на вид и на общее рассуждение всей земли. Почему вдруг отошли от прежнего плана и разом так скоро подвинулись вперед — этого я хорошенько до сих пор узнать не мог, ибо причины тут совершенно случайные.

Приезд Назимова³⁵ и предложение дворянства об изменении инвентарного положения было поводом к различным новым толкам, дело запуталось,

и результатом всего этого и был рескрипт, совершенно изменивший первое предложение, которое, как мне теперь кажется, было бы, быть может, лучше. Издали, не видя всей подноготной, я порадовался появлению рескрипта, мне казалось, что правительство поставило себя в весьма выгодное положение к этому вопросу, сложив на дворян инициативу и разработку его. Но я опасался, что не выдержит правительство этой пассивной роли и будет увлечено желанием торопить и поощрять дворян к изъявлению желаний на учреждение комитетов. Так и вышло. С появлением рескриптов вся Россия завопила, говор пошел такой, что ничего нельзя было во всем этом ни разобрать, ни объяснить. Когда еще теперь, т. е. по истечении 9-ти месяцев, нет другого разговора по всей России, то легко себе представить, что было тогда, когда для массы вопрос был поставлен неожиданно и без малейшего в чем бы то ни было приготовления.

По доходившим до меня слухам и разным признакам видно было, что великий князь во всем этом вопросе принимал самое деятельное участие. Независимо от сего им возбуждены были и другие важные вопросы, касающиеся других министерств, также вопрос о раскольниках, в пользу которых он предлагал самые либеральные меры, совершенно невозможные и неисполнимые. Поездка Мансурова в Иерусалим³⁶ и длинные его донесения дали повод начать крестовый поход в защиту наших паломников и ограждения их прав от зависимости от греческого духовенства. По поводу этого вопроса завязалась полемика и споры с Никодимом и министром иностранных дел. По поводу откупов по приказанию великого князя налитографирована была записка, очень не понравившаяся министру финансов. Наконец, налитографирована была и разослана ко всем членам Государственного совета и другим лицам моя записка с замечаниями на внесенный Блудовым в Совет проект нового Устава гражданского судопроизводства. Эту записку я составил в Риме на досуге, собственно, для великого князя, никак не ожидая, чтобы она получила такую гласность. Поэтому в ней многое было так сильно выражено, что я сам испугался, когда узнал о ее распространении.

Все эти разом возбужденные вопросы встревожили не привыкшее к сильным ощущениям петербургское общество и власти, и все это обрушилось гневом на великого князя и всех его окружающих. В это самое время меня совершенно неожиданно пожаловали в статс-секретари, что и, прибавив мне завистников, дало еще большее значение моей записке. Ее читали нарасхват, копии посылались по всей России. Я все это узнал по письмам и благодарил Бога, что меня нет в Петербурге. В это время граф Блудов в защиту своего проекта написал оправдание сам и заставил написать подробный ответ одному из помощников статс-секретаря Государственного совета, некоему господину Зарудному. Этот ответ мне также был прислан для возражения, и я, воротясь из Иерусалима, просидел 2 ночи за этой работой. Как бы то ни было, но, по общему отзыву, записка моя осталась не без пользы. Проект Блудова ежели не отвержен, то почти отложен в сторону, и многие существенные вопросы по этой части подняты. Лучшим доказательством того, что записка моя многих затронула за живое, служит то, что по возвращении моем

в Россию я сам видел, что многие начали серьезно заниматься этими вопросами, и от многих лиц я получил несколько более или менее дельных записок по этому предмету. Другой практической пользы, кроме уяснения сознания в молодых деятелях, я не ожидаю, ибо уверен, что при теперешней обстановке нашей законодательной власти и министра юстиции ничего дельного сделать нельзя. Слухи о назначении меня министром юстиции или товарищем до такой степени распространились, что все, даже за границей, меня поздравляли с этим назначением, но на поверку оказалось, что, кажется, и речи об этом серьезно не было. Меня так торопили скорее вернуться в Россию потому, что, за отсутствием Головнина, уехавшего за границу, мой вице-директор Набоков назначен был исправлять его должность, а департаментом управлять было некому.

Встречен я был великим князем очень ласково и, по случаю назначения статс-секретарем, представлялся государю, с которым имел замечательный и довольно длинный разговор, который намерен записать для памяти подробно. Я был приглашен в Царское Село. Государь принял меня в кабинете очень приветливо, дал руку, посадил и начал разговор о моем путешествии, об Иерусалиме, и потом спросил, много ли спорили и говорили в Риме о современном вопросе эмансипации. Я отвечал, что говорили много, а спорили менее, вероятно, чем в других местах, ибо в Риме мало было лиц, не сочувствовавших этому вопросу. «Однако, наш бедный Олсуфьев В. Д., — прервал государь, — он, кажется, очень был встревожен». Я отвечал, что, действительно, Олсуфьев был поражен известием и появлением рескриптов и был в большом беспокойстве, по возвращении же моем из Иерусалима я уже не застал его в живых. «Теперь весь вопрос, — продолжал государь, — сосредоточился на вопросе об усадьбах, и спорят только о нем, а не вообще об освобождении, но тут я не могу сделать никакой уступки, я никак не могу допустить вредного пролетариата, и только отдачею крестьянам усадеб можно предотвратить это».

«Эта мера необходима и справедлива, ею не нарушаются ничьи права, ибо помещики получают вознаграждение за отходящую от них собственность». К этому государь прибавил еще несколько слов, которых припомнить не могу, но которые выражали какую-то отвлеченную юридическую мысль. Я заметил ему, что в основании его мысль совершенно верна, но что, с другой стороны, также понятно, почему именно эта мысль не находит большого сочувствия между помещиками, но на это есть много причин и, между прочим, та, что наше дворянство, как вообще масса нашего общества, не привыкло рассматривать вопросы с отвлеченной юридической точки зрения, что им доступнее осязательный способ мышления, а так как в уступке усадеб помещики не видят прямой своей пользы, а, напротив, находят много затруднений при исполнении этой меры, то естественно, что они вообще ее порицают. «Я не понимаю, — прервал государь, — в чем могут заключаться эти затруднения, в особенности теперь, мы изданной программой дали средства обойти все эти затруднения». Во время этого разговора, обращаясь ко мне, государь говорил: «Вы». Засим, после некоторого молчания, он спросил меня: «А что, ты слышал все, что говорят о брате Константине и как его бранят?». Я отвечал, что

слышал и очень об этом скорбел. «Да, это очень неприятно, — продолжал государь, — тем более, что брат тут ни при чем. Все, что можно сказать, так это то, что он иногда бывает неосторожен в словах». Я заметил, что как ни неприятны эти слухи, но они понятны, ибо нельзя было предполагать, чтобы подобная важная государственная мера могла бы встретить единодушное сочувствие, а у нас всякое неудовольствие обыкновенно выражается ругательствами, обращенными к лицу одного кого-либо, и в настоящем можно считать счастливым, что неудовольствие обрушилось на лицо только великого князя. Государь, видимо, понял мою мысль и сказал только: «Да, это все-таки очень неприятно». Хотя я еще в точности не знал, в чем обвиняли перед государем великого князя, я все-таки хотел воспользоваться случаем, чтобы что-нибудь сказать в оправдание, поэтому я продолжал так: «Ежели, государь, великий князь подвергся обвинению в излишней горячности, так в оправдание ему может служить то, что в таком вопросе весьма трудно всегда сохранить спокойствие, тем более что одна крайность порождает другую, и горячность с одной стороны являлась вынужденным равнодушием с другой стороны. К тому же несчастию, до сих пор все дела, которые шли своим обыкновенным, спокойным путем, как-то у нас всегда останавливались на полпути и не кончались ничем». — «Да, это к несчастью, правда», — заметил государь.

После некоторого молчания государь спросил меня: «А что, ты знаком с Головниным?» — «Весьма знаком, государь», отвечал я. «Какого ты о нем мнения?» — «Самого лучшего, государь, я знаю Головнина за самого честного, способного и благонамеренного человека». Государь на это ни слова не сказал, тогда я заметил, что ежели и Головнин, может быть, также подвергся обвинению в излишней горячности, то и это объясняется общим впечатлением поднятого вопроса, и при том Головнин человек болезненный, а потому, может быть, горячее других принимал к сердцу все спорные вопросы. «Да, — отвечал государь, — я и сам так его понимаю и этим объяснил себе, почему вместо того, чтобы сдерживать брата, он, напротив, его подстрекал». В это время вошла императрица и перебила наш разговор. Государь встал, подошел к ней, несколько минут с нею переговорил и потом опять, воротясь ко мне, посадил и стал продолжать разговор. Говорил о Морском министерстве и о том, что слышал, что в моем департаменте порядок. Я заметил ему, что имел счастье найти хороших помощников, а что все дело в людях. «Да, это главное», — возразил государь. Тут опять нас перебили, вошел камердинер и доложил что-то государю, который вышел из кабинета и приказал его дожидаться. Потом, воротясь, сказал, что ему сегодня некогда со мною говорить долее, дал руку и сказал, что надеется, что теперь у нас все пойдет тихо и хорошо. Я отвечал, что клянусь служить верно всеми своими силами. «Пойди к императрице, она тебя желает видеть», — сказал государь, провожая.

Вследствие сего я прямо отправился к императрице, обо мне доложили, и она меня немедленно приняла. Много расспрашивала об Иерусалиме, говорила о Мансурове, о его брошюре и о будущем устройстве богоугодных заведений в Палестине, потом спросила, знаю ли я Черкасского, о котором писала ей Елена Павловна как о человеке, которого бы следовало употребить по кре-

стьянскому вопросу. Я подтвердил мнение великой княгини, затем речь началась об эмансипации, сперва в общих выражениях изъясляла она опасение, что пошли дальше, чем предполагали, что состав Комитета не обещает много хорошего; вообще из всех слов ее я мог заключить, что она видит довольно ясно настоящее положение вещей и чувствует, что ералаш происходит оттого, что главные действующие лица сами не отдают себе отчет, что делают. Отвечая на мысль ее об опасностях, я сказал, что все это, с помощью Божьей, может быть исправлено, но что главная опасность не заключается в видимых проявлениях. Настоящая опасность заключается в том факте, что когда государь в первый раз собрал близких ему и доверенных лиц и предложил им в первом заседании вопрос, следует ли поднимать крестьянский вопрос теперь или еще можно подождать, то все единогласно объявили, что следует непременно и что откладывать нельзя, а между тем все эти лица в душе были совершенно противоположного мнения и что до сих пор они продолжают играть двойную игру. Это не может оставаться секретом, ибо шаткость выражается во всех действиях правительства. «Jamais ces messieurs ne seront à la hauteur des bonnes intentions de l'Empereur, Madame»*, — заметил я, и она наклоном головы дала мне почувствовать, что со мной согласна. Разговор наш продолжался таким образом более получаса, и я вынес от обоих свиданий чувства самого искреннего расположения к двум добрейшим существам, возбуждающим сожаление и вместе неограниченную любовь. Так бы хотелось им помочь, но чувствуешь, что не можешь. Я передал слово в слово мой разговор с царем и узнал при этом, что с отъездом Головнина, и даже прежде, великий князь перестал заниматься общими делами, не касающимися собственно Морского министерства. Он думает, что недолго так продлится и что опять к нему обратятся, когда все перепутается. В ожидании этого он намерен жить в Стрельне и Павловске и заниматься цветами.

К несчастью, такое вынужденное спокойствие более сообразно с его природным расположением, чем деловая деятельность, к которой подвинут он был Головниным. Странно, нет человека, менее способного на какую-нибудь самостоятельную и упорную борьбу, чем великий князь, а общественное мнение приписывает ему разные нелепые замыслы. Нет человека, менее способного стать во главе какой-нибудь партии, а в обществе — он чуть-чуть не главным возмутителем. Впрочем, это ошибочное понимание объясняется тем, что лица, в отдалении стоящие, не могут отделять личность великого князя от дел его и не могут знать, в какой мере дела его суть выражение его личности; чтобы объяснить это, нужно написать подробную характеристику этого человека и показать всю внешнюю его обстановку, которая имеет постоянное и решительное влияние на все его действия. Несколько дней спустя после представления моего государю был я позван к Ольге Николаевне, которая гостит теперь здесь с мужем. С этой во всех отношениях милой женщиной был у меня весьма длинный разговор, которым я воспользовался, чтобы сказать все,

* Никогда эти господа не будут достойны доброй воли, каковая движет императором, Ваше Высочество.

что только мог, в защиту тех видимых обвинений, которые посыпались на Головнина после его отъезда. Я припомнил великой княгине, какие услуги оказал Головнин великому князю и как много великий князь и государь должны быть обязаны Головнину по семейным делам; я убежден, что ежели сделано по Морскому ведомству что-нибудь дельное, то этим обязаны Головнину. Он, несмотря на все препятствия, возбудил в великом князе охоту к занятиям, образовал и развил его. Слова мои нашли сочувствие и, вероятно, были переданы императрице. Вообще, кажется, на дамскую половину августейших особ я не произвел дурного впечатления. Доказательством к тому служит то, что я два раза был зван обедать к императрице и что на маленьком балу на собственной даче говорил с царицей в продолжение всей мазурки, притом был эпизод довольно замечательный.

Сюда приехал американец Юм — известный медиум, обладающий, по отзыву всех видевших его, какой-то сверхъестественной силой. Еще в прошлом году о нем много писали и говорили в Париже. Рассказывали, что под его влиянием не только столы вертятся, но и выделяют разные другие штуки. Также присутствующие при опытах чувствуют прикосновение каких-то невидимых рук и проч. В Париже Наполеон был, говорят, очень поражен силою Юма и несколько раз присутствовал на его опытах. О приезде Юма в Петербург, разумеется, очень скоро узнали при дворе. Прежде всех императрица Мария Александровна пожелала его видеть, полагая, что Юм более или менее забавный фокусник. Его позвали в Царское Село, и там, в присутствии государя, двух императриц, великого князя и других лиц, стол действительно делал какие-то необыкновенные движения, не направляемый никакой видимой силой. Кроме того, вдовствующая императрица чувствовала и все присутствующие видели под ее платьем движение, которое успокоилось только тогда, когда, по настоятельному приглашению Юма, императрица дала свою руку этой невидимой силе, приводящей в движение складки ее платья, и тогда почувствовала, что кто-то до руки ее действительно прикоснулся. На всех присутствующих эти опыты произвели более или менее сильное впечатление, но в особенности под влиянием этой загадочной силы были государь и великий князь Константин Николаевич. Сей последний, вообще весьма склонный к мистицизму, с увлечением предан верчению столов и всяким исследованиям таинственных сил.

На другой день после первого представления в Царском Селе он был приглашен в Стрельну, к великому князю, где должны были возобновиться опыты. В этот день, по желанию Ольги Николаевны, я был приглашен с ней обедать в Стрельну. За обедом я узнал о имеющем быть вечером представлении Юма, и, хотя просил позволения присутствовать при этом представлении, мне великий князь отказал, объявил, что уже назвал Юму всех тех, которые будут присутствовать. За обедом пришли сказать, что государь также придет в 8 часов. Принц Вюртембергский — муж Ольги Николаевны — также должен был остаться на вечер, чтобы присутствовать при опытах Юма. Так как меня решительно не приглашали остаться, то я после обеда уехал и не знал, что засим происходило. Спустя дня два после этого, а именно 11-го июля, по случаю именин Ольги Николаев-

ны, был тот бал на собственной даче, о котором я упомянул выше сего. На балу я подошел к принцу Вюртембергскому и спросил его, как он был доволен представлением Юма. Тут принц, хотя я и знал, что он вообще с придурью, но удивил меня тоном своего ответа. Он очень сердито отвечал, что остался очень недоволен, что такими вещами шутить нельзя и что всякий человек, имеющий религиозное понятие, должен уважать дух отца. Я, признаюсь, сначала ничего не понимал, о чем так горячится принц, но потом стал он доказывать мне, что государю и великому князю вредно заниматься подобными вещами, в которых явно действует какая-то сверхъестественная сила. Из всего этого я догадался, что на вечере в Стрельне происходило что-нибудь действительно необыкновенное. Наконец, частью из слов Ольги Николаевны, которая, говоря со мною, предполагая, что я все знаю, частью из горячего спора Константина Николаевича с Вюртембергским, при котором я случайно присутствовал, а также из расспросов я узнал, что действительно в Стрельне не только вертелся стол и ходили стулья, но был также эпизод, сильно поразивший государя, а именно: стол близко подошел к государю, и когда он спросил, чей это дух действует, то стоявший близ государя стул сильно отдвинулся, как бы кто с него встал, и это движение напоминало обыкновенное движение стула, когда с него вставал покойный государь. Что видел государь при этом, я хорошенько не знаю, но только он пришел в ужасное смущение, а с Юмом сделался какой-то нервический припадок, ибо, по словам его, он сам не властен останавливать и направлять действие невидимых сил, им вызываемых. Сколько во всем этом действует воображения — мне неизвестно, ибо я сам ни разу не присутствовал ни на одном представлении Юма, но верно то, что этот человек не просто шарлатан и что силы, приводимые им в действие, не суть силы известные и подходящие под законы физические. Как бы то ни было, но необыкновенный эпизод, случившийся в Стрельне, не только не прекратил в государе и великом князе желание продолжать опыты, но, напротив, еще больше заинтересовал их, и с тех пор представления Юма повторяются. В разговоре за мазуркой императрица тоже высказала мне свое беспокойство. Но, к счастью, вскоре после этого бала у Юма пропала сила (по его словам, способность вызывать эту силу является у него только по временам) и опыты сами собой прекратились. Просматривая в 1860 году эти записки, нужным считаю дополнить, что Юм вскоре в Петербурге женился на сестре жены графа Кушелева-Безбородко, не помню, кто она по себе, в течение 1858-го года он еще несколько раз при ней бывал у государя, но это продолжалось недолго, Юм уехал из России, и тем все это дело кончилось.

На сих днях умер здесь, почти на моих руках, художник Иванов. Эта смерть сильно меня поразила. Она так же знаменательна, как знаменательна смерть внезапная и преждевременная всех наших талантливых людей.

С Ивановым я познакомился в прошлом году в Риме. Дружба его с Гоголем и суждения Гоголя о его картине «Явление Христа народу» возбудили во мне сильное желание ближе с ним познакомиться. В первый раз я встретил Иванова у И. С. Тургенева в Риме и на другой же день был у него в мастерской, где картина уже выставлена для публики, хотя публику еще не пускали, ибо Иванов все еще не решался открыть свое сокровище, стоившее ему 20-летних

трудов, на суд толпы. Хотя я не знаток, или, лучше сказать, потому что я не знаток, картина мне с первого раза не понравилась. Потом я к ней привык, оценил ее частные достоинства, но, признаюсь откровенно, никогда не мог найти в ней тех красот, о которых писал Гоголь и другие. Вероятно, я умел скрыть от Иванова впечатление, произведенное на меня его картиной, ибо он не только не дичился меня, но с первых дней знакомства, видя искреннее мое желание быть ему полезным, близко сошелся со мной. Весьма скоро я заметил в Иванове такие странности, которые заставляли многих предполагать в нем болезненное расстройство. Отшельническая жизнь, в течение 20-ти лет им веденная, и постоянное сосредоточение на одном предмете хотя должны были иметь, без сомнения, влияние на его характер, но, не в зависимости от сего, в его необязательности, в его преувеличенных опасениях интриг врагов, в его чрезмерной высокой оценке малейшего этюда нельзя было не заметить следов душевного расстройства. Когда же студия его открылась для публики и зашла речь об отправлении его картины в Петербург, он как будто совсем потерялся. Я выхлопотал ему через великую княгиню Елену Павловну, бывшую тогда в Риме, разрешение отправить его картину за казенный счет. Великая княгиня дала даже деньги для снятия с картины фотографий. Все это несколько успокоило Иванова, но, как будто предчувствуя, что в Петербурге его ждет могила, он, как трусливый ребенок, боялся возвращения в Россию. Судя по письмам Гоголя, я предполагал в Иванове глубокие религиозные убеждения, но, к удивлению своему, заметил, что в этом отношении в нем произошла глубокая перемена. Впоследствии я узнал, что действительно в духовной борьбе, через которую он, по словам Гоголя, проходил, он изнемог и впал в безверие, но на этом остановиться не мог, искал разрешения своих сомнений в учении германских философов, но не нашел успокоения, и это была, вероятно, одна из главных причин его душевного расстройства. Приехав в июне вместе с картиною своей в Петербург, он пришел ко мне, и я с готовностью предложил ему свои услуги. Со стороны академического начальства он встретил ежели не равнодушие, то некоторое недоброжелательство. Государь видел картину мельком, о покупке ее завязалось дело, которое начало ходить по всем инстанциям, что очень сердило Иванова, желавшего скорее развязаться и уехать опять в Италию. Картину начали ценить люди, не совсем расположенные к Иванову; все это, при подозрительности его, еще более расстроило его нервы. В это время появилась в газетах статья с неблагоприятным отзывом о картине Иванова; предполагая, что статья эта писана по внушению академического начальства, он окончательно стал терять благоразумие и терпение. При таком расположении духа малейшая неосторожность в пище при свирепствовавшей, хотя не эпидемической, но довольно сильной, холере, могла быть для него гибельной. В первых числах июля поехал он в Сергиевск, на дачу великой княгини Марии Николаевны, <чтобы> как от президента Академии узнать окончательное решение о своей картине. Мария Николаевна не могла его принять, это еще более его взбесило; в Петербург он уже явился с болью в животе, вскоре открылись все признаки сильной холеры. Он жил на бедной квартире молодых художников братьев Боткиных. На другой день ко мне приез-

жал дворник дома и сказал, что Иванов умирает. Я сейчас же к нему отправился, дорогою встретил доктора Буяльского, взял его с собой, но мы нашли Иванова уже без всякой надежды, но еще в памяти. Я стал его уговаривать приобщиться, на что он согласился, потом я расспросил его последнюю волю, которую записал в форме духовного завещания, и к вечеру он скончался. Несколько часов спустя принесли на имя Иванова конверт из придворной конторы, в котором его уведомили, что государь купил его картину за 15 тысяч рублей серебром. Сам Иванов ценил ее с этюдами в 30 тысяч рублей. Смерть Иванова возбудила в публике негодование против людей, принявших равнодушно художника русского. На похоронах публика до кладбища несла гроб, на могиле было сказано несколько сильных слов. Один какой-то господин, между прочим, с азартом сказал: «Давно мы ждали Иванова и картину его, много о нем говорили и писали, носились слухи, что французы и англичане предлагали огромные суммы за картину, мы спрашивали себя, что же даст Россия Иванову за его картину... Могила — вот, что дает Россия всем своим талантам» и проч. ... По просьбе друзей Иванова, я принял на себя быть его душеприказчиком и по этому поводу писал великой княгине Марии Николаевне письмо, в котором уведомлял ее о желании покойного, чтобы его картина, вместе с этюдами, была поставлена в Москве, в школе рисования.хлопоты мои остались тщетны. Этюды были выставлены здесь и проданы по частям. Всего за картину было выручено 30 тысяч рублей, и деньги эти, согласно завещанию покойного, переданы были брату его, также художнику, живущему в Риме. Нельзя не пожалеть об утрате замечательного художника, но думаю, что Иванов едва ли в состоянии был бы еще произвести что-нибудь замечательное. Станный колорит его картины, по мнению многих, доказывал, что самое зрение его уже расстроилось, а восстановления душевных способностей ожидать было трудно, ибо, видимо, этот человек пережил себя и не вышел победоносно из той нравственной борьбы, в которой находился в ту эпоху, когда о нем писал Гоголь. Как бы то ни было, но судьба Иванова принадлежит к тем необъяснимым замечательным фактам, которыми Провидение стремится вразумить нас, отнимая у нас одного за другим все таланты.

Искренне сожалею, что прекратил дневник свой, постараюсь воспоминаниями пополнить пробелы и рассказать, что помню, о главнейших обстоятельствах, ознаменовавших конец 1858-го и весь 1859-й и 1860-й годы. Крестьянский вопрос преимущественно сосредоточивал на себе внимание России. Редакционная комиссия работала с усиленной энергией, душою ее были Милютин, Черкасский и Самарин. Для истории деятельности этой Комиссии остается много материалов, как в напечатанных трудах ее, так, вероятно, в частных мемуарах и записках. Но только современники и близкие свидетели главнейших тружеников по этому делу могут оценить их заслуги. Все невидимые, неосозаемые и ежедневные затруднения, противодействия, с которыми им приходилось бороться, были непомерны. Я лично не принимал непосредственного участия в работе Редакционной комиссии, но, будучи тесной дружбой связан с главнейшими деятелями, я постоянно следил за их работами, участвовал в спорах и совещаниях их и помогал, насколько мог, отра-

жать и удержать их от нападков клеветы, лжи и всякого рода интриг. Обстоятельства дали мне возможность быть в этом случае полезным.

После возвращения моего из-за границы я попал в большую милость при дворе. Государь и в особенности императрица были очень ко мне милостивы и очень часто приглашали к обеду. Все это знали. Это придавало мне некоторое значение в отношениях с людьми, но, кроме того, зная, к какой партии я принадлежу, многие видели в моем успехе доброжелательство и к моим приятелям.

Помню, однажды, в начале осени 1858-го года, был я с докладом у великого князя в Стрельне, в это время приехала туда вдовствующая императрица Александра Федоровна, с которой я не был вовсе знаком, ибо при Николае ко двору не ездил. Великий князь меня ей представил. Они пробыли в Стрельне полчаса и отправились назад в Петергоф. Великий князь, вернувшись в кабинет, сказал мне: «Матушка просит вас к ней сейчас поехать чай пить». Я был в сюртуке³⁷ и вовсе не готовился к придворному вечеру. Однако делать было нечего, и я сейчас же отправился в Петергоф, в Александрию. У императрицы никого гостей не было, одна дежурная фрейлина разливала чай, и я, таким образом, провел вечер в разговорах с прелюбезной, как оказалось, старушкой, которая очень рада была видеть свежего человека. Я заметил, что она не прочь была посмеяться и даже очень легко смеется, поэтому мне нетрудно было ее посмешить. Старушке, кажется, я понравился, потому что после этого она несколько раз приглашала меня в городе в Аничков дворец, где она жила после смерти покойного государя. Я несколько вечеров читал ей повести Тургенева. Так я познакомился под конец ее жизни с императрицей Александрой Федоровной, и так как она представилась мне без всякого блеска ее прежнего величия, то и оставила во мне впечатление доброй старушки, без всяких серьезных мыслей и всякого определенного направления. По-видимому, она никогда не имела и не могла иметь какого-нибудь влияния на общественные дела. Я, однако, мог заметить в ней какое-то неопределенное неудовольствие против современных нововведений, но это скорее был просто бессознательный протест старушки, недовольной видом новых форм обмундирования, новых порядков в распределении занятий дня и проч. и проч. ...

В октябре месяце двор переехал на несколько дней в Гатчину, где и в прежние времена живал по нескольку дней, собственно, для удовольствия. В Гатчину на жительство приглашаются обыкновенно только избранные. Меня, к величайшему моему удивлению, позвали на другой день после переезда на вечер. Я приехал, не зная всех придворных обычаев, с намерением вернуться в город в тот же вечер, но меня тут же пригласили остаться на три дня. В этот вечер был спектакль в зале, и императрица пригласила меня сесть рядом с нею, так что я очутился сидящим между нею и Еленой Павловной, имея позади себя государя. Я немало был удивлен такими почестями, и мне казалось, что я превратился вдруг в какого-то немецкого принца. По совести могу сказать, что ни одной минуты не очарован я был такими знаками внимания, я так был уверен, что неспособен удержать за собой столь блестящее положение, что не мог чрезмерно обольщаться. Не зная, за что на меня так милостиво смотрят, мне казалось все это как-то странным. Положение было неловкое, глав-

1861 год

ное потому, что я ни с кем из приближенных почти не был знаком и потому никак не мог рассчитывать на чью-либо поддержку. В Гатчине целый день проводится в веселье и еде. Утром, в 12 часов, собираются все приглашенные идти к завтраку, потом отправляются или гулять, или на охоту, или кататься. В 4 часа опять собираются к обеду и остаются в общей зале, так называемом арсенале, до 6-ти или 7-ми часов. В 9 часов опять собираются или на бал, или в театр, а иногда и то и другое, и так до 2-х часов ночи, и каждый день одно и то же. К обеду и к вечеру к живущим гостям присоединяются приезжие из города, званые только на вечер. Жизнь в Гатчине могла бы быть очень приятной, ежели бы круг гостей был бы между собой теснее связан и ежели бы препровождение времени было бы разнообразно устроено. Но для этого нужны элементы, которых, к сожалению, в высшем обществе нет. Без участия умных, интересных и талантливых людей очень трудно что-нибудь устроить.

1861 год

7-го января. С чувством тревожным ожидания великих событий встретил я Новый год. Не нужно быть прозорливым прорицателем, чтобы предсказать наступившему Новому году важное историческое значение. Не только в Европе и Азии, но и в Америке должны совершиться события, последствия которых достоверно определить невозможно. Итальянский и восточный вопросы с весны нынешнего года поднимут на ноги всю Европу, а у нас, кроме того, крестьянский вопрос сам по себе уже произведет такой переворот, который на скрижалях истории отмечен будет чертами неизгладимыми и может послужить началом новой исторической эры. Невозможно верить в совершенно мирный исход крестьянского вопроса, еще много лет будет он стоять на очереди, но от первого момента его разрешения будет зависеть характер его дальнейшего развития. Нет такой силы, которая могла бы удержать в пределах все враждующие партии и указать им правильный путь к примирению, поэтому вся и единственная надежда на Бога и на ту невидимую силу случайностей, которая с самого начала вела этот вопрос помимо воли и задуманных намерений представителей всех партий.

Тот, кто следил с самого начала за ходом крестьянского вопроса, кому были известны все подробности и закулисные тайны их, тот не может не верить в непосредственное участие Провидения в этом деле. Даже все первостепенные деятели, которые имели, по-видимому, самостоятельное в деле участие, не могут дать себе ясного отчета в добытом результате. Необъяснимым остается для потомства как самая решимость государя возбудить вопрос, которому он прежде не сочувствовал, так и быстрый ход его, несмотря на единодушное стремление всех лиц, власть имеющих, ежели не совсем задержать его, то по крайней мере весьма замедлить его радикальное разрешение. С той же неизвестностью приближается ныне вопрос крестьянский к своей окончательной развязке. На днях он поступил из Комитета в Государственный совет. Тут готовится сильная по численности оппозиция, но слабая по качествам ее